

Евгений Добренко

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ ПЛАТОНОВА

Платонову попал в глаз языковой осколок зеркала гармонии.

Мераб Мамардашвили.¹

1

Работая над книгами о советских институциях чтения и писательства, я проникался все большим интересом к Платонову: чем больше я читал беспомощный вздор советских писателей-графоманов 1920-30-х годов, которые к 1940-ым овладели, наконец, нормативным советским письмом и стали Сталинскими лауреатами (т.е. советские читатели стали, наконец, советскими писателями, и начали сами производить советскую литературу – социалистическую по содержанию и национальную по форме «художественную продукцию»), тем отчетливее я стал понимать смысл совершенно загадочного стечения обстоятельств: встречи во дворе Литературного института на Тверской, 25 литинститутского студента-фронтовика Семена Бабаевского и проживавшего во флигеле этого дома писателя Андрея Платонова. Я вдруг понял, что Платонов – не «ранний» и не «поздний», интересный историкам литературы и платоноведам, – но тот самый Платонов, что интересен всем – автор «Впрок», «Города Градова», «Государственного жителя», «Усомнившегося Макара», «Сокровенного человека», «Шарманки», «14 красных изушек», а главное, конечно, «Чевенгура», «Котлована», «Ювенильного моря», «Счастливой Москвы», был единственным, кто прорвался в зазеркалье советского языка и советской литературы и открыл в них то же, что Фрейд открыл в обычных неврозах – целый потерянный мир.

Читая Платонова и анализируя свои ощущения, я ловлю себя на том, что они сходны с теми же ощущениями, что возникают при чтении какого-нибудь Ивана Шевцова, Елизара Мальцева или Василия Ажаева. Тексты эти ничем не схожи. Они принесены из разных миров. Они *экзистенциально* противоположны. Но, читая платоновскую прозу, я погружаюсь в

¹ М. Мамардашвили, *Необходимость себя*, М. 1996, 194.

абсолютную языковую нирвану: здесь нет ничего, кроме языка. Хотя на самом деле, конечно, здесь страдают, умирают, убивают, но все это чистая литература – слова, слова, слова – «много выдуманых слов». То же самое можно сказать и о социализме.

Платоновская языковая деформация началась одновременно с постреволюционным «затвердеванием» и окончательным окостенением языка. Платонов открыл и материализовал заеркалье советского языка. Он использует лексику революционного языка, но вся грамматическая структура уже советская. Этот кентавр – продукт прошедшей в России XX века ментальной катастрофы. Платонов зафиксировал ее с потрясающей сейсмической точностью. Это особенно понимаешь, сравнивая Платонова с Зощенко, который зафиксировал лишь гул, сопровождавший этот ментальный сдвиг.

Платонов был не просто фиксатором. Он сыграл в истории советского языка ту же роль, какую сыграл Пушкин в истории русского литературного языка. Языковое поле социализма кодифицировано Платоновым, и через него может быть расколдовано и понято.

2

Читая и перечитывая Платонова, я каждый раз ошущаю какую-то *взакость* этой прозы. Читая работы о Платонове (а с конца 80-х я стараюсь не пропускать ничего значительного написанного о нем), я понял, почему исследователи так привычно вырывают к «сюжету», к «событию». У Платонова ведь тоже всегда что-то такое «описывается» и «происходит», а раз так, то есть «сюжет», а раз есть «сюжет», значит его можно конвенционально анализировать. Странности обычно списываются на революционный утонченный пизм, или того легче – на Фелорова: писатель-Фелоровец не мог быть вполне конвенциональным, а поскольку сам Фелоров не был конвенциональным философом, но скорее консервативным визионером, то и Платонов что-то там такое у него «берет» и «воплощает в образах».

Между тем, проблема платоновских сюжетов видится мне в их *абсолютной нереальности*, т.е. в том, что, закрывая книгу, я начисто забываю о том, что там такое «происходило». Происходящее – последнее, что меня интересует у Платонова. Это обычно – какие-то экстравагантности, неслепости и курьезы – кто-то вынобляется в Поэту Люксембург и носит всюду с собой образ этой дамы сердца как какой-нибудь Дюльсинени Табосской, или какая-то левочка умирает, или не умирает, или мать ее умирает. Все – как в тумане. Просто не имеет значения. И все же, чтение этих текстов требует громадной внутренней работы. Вся она связана с потреблением и переработкой платоновского языка, а вовсе не сюжета –

чего-то совершенно случайного и довольно бестолкового, подобного воскресению покойников у Федорова. Сюжеты эти толком и не выстроены. Вообще кажется, что все это один бесконечный текст об одном каком-то событии, которое перетекает из одной книги в другую. Событие это – сам язык. И книга – одна, написанная на одном языке – абсолютно неважно о чем. Процесс чтения Платонова можно уподобить потреблению низкокалорийной пищи: сам процесс ее поглощения и усвоения организмом требует больших калорий, чем в ней самой содержится. Калории (сюжет) сгорает без остатка в языке.

Итак, единственным событием у Платонова является его язык. Бахтин говорил о «событии бытия». Все бытие у Платонова – в языке, а сюжет – безбытен. Он буквально безбытен – там нет быта потому, что нет людей. Там живут, как точно заметил Мамардашвили, «получеловеки».² Это какой-то лубочный мир картонных человечков. Кукольный театр, в котором то светло, как в «Чевенгуре», то темно: «Котлован» весь в страшном мраке – ноги переломать можно. Но в этой тьме – *через язык* (единственный медиум в этом мире!) – проступают какие-то тела, портреты, ландшафты, подобные театральным задникам, интерьеры. Это мир Филонова, где голова, ухо, нос, части тел могут угадываться, но все вместе диспропорционально и перекошено. Скрепой этого мира является не коммунизм и не Федоров, но именно и только язык. Это языковой сюрреализм. Платонова не надо исследовать, как Булгакова. *Его надо думать*, осознавая самоценную *вязкости* этой прозы.

3

Персонажи Платонова только то и делают, что «думают». И думают они только об идеальном (коммунизме, мировой революции и т.п. химерах), но при этом говорят все время о материальном – о «веществе». Платоновские оксюмороны функциональны: развоплощение совершается здесь через воплощение (такова телесность «Чевенгура»).

Платонов занимался материализацией метафор. Он как будто материализовывал тезис Маркса о том, что «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами».³ Массы, как кажется, ищут материализованного коммунизма. В результате этого удвоения происходит окончательная дематериализация идеального: материализация идеи о материализации идеи равна дематериализации идеи. Это – чистая тавтология, в которой материализация метафоры оборачивается ее развоплощением. Впрочем, сами марксовы метафоры очень иногда похожи на речи плато-

² М. Мамардашвили, *Как я понимаю философию*, М. 1992, 387.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, Т. 1, Изд. 2-е. М, 1955-1973, 422.

новских персонажей. «Человек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен постоянно оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть».⁴ Так мог сказать бы какой-нибудь Чепурный.

Русский марксизм был также болен этой энтропийностью. Ленин полагал, что «умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм».⁵ Иначе говоря, «ум» оказывается важнее глупого материализма. С этим у Платонова беда: его герои, в сущности, – законченные идиоты. Мамардашвили писал о Платонове, что тот «давал страшную картину потустороннего мира, в котором живут, казалось бы, люди, но они – получеловеки. Они человечны в попытке, в позыве к человечности, а живут в языке... Это идиоты возвышенного».⁶

Советский мир и был миром возвышенного. Герои Платонова – это тени советских героев. Идиоты советского мира. Скелеты в советском шкафу. Потому и живут они в темноте. При свете советского возвышенного они рассеиваются как привидения.

Одним из фантомов в мире Платонова является смерть, которая вообще является главным «событием» в искусстве. Смерти у Платонова не переживаются читателем потому, что его герои и так как будто живут уже на том свете. Они, эти функции языка, не умирают потому, что вообще никогда не рождались. Кажется, что смерть им не страшна потому, что она как будто является частью уже пережитого ими опыта. Смерть однако не может быть частью опыта жизни. Вот почему столь близка Платонову некрофильская утопия Федорова, открывающая столь много сюжетных замков в его мире. Но каждый раз открываемые этим ключом комнаты пусты. То, что смерть здесь не страшна, говорит лишь о том, что у Платонова на самом деле нет жизни.

4

Среди замечаний Сталина на полях повести «Впрок» интереснее всего не брань не выбиравшего выражений вождя, но его возмущение языком Платонова: «это не русский, а какой-то тарабарский язык». И действительно, здесь сталкиваются две грандизонные языковые проекции: публичная, явленная Сталиным, и платоновская – зазеркальная. Одна не узнает себя в другой. Сталинский язык – абсолютно правильный, его «слова, как пудовые гири, верны» – не только по содержанию, но именно грамматически. Сталин пишет как Гоголь – бесконечными синтаксическими конструк-

⁴ Там же, Т. 42, 92.

⁵ В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, Т. 29, Изд. 5, М. 1975, 248.

⁶ М. Мамардашвили, *Как я понимаю философию*, М. 1992, 387.

циями. Платонов пишет точно также. Вот – наугад – из начала «Ювенильного моря»:

Он управился – уже на ходу – открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина, благодаря сообразительности пешехода, заключалась в переменном астрономическом движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно как только, хотя бы на мгновение, земля уравнивается среди разнообразия звездных влияний и приведет в гармонию все свое сложное колебательно-поступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей вселенной, и тогда движение земли изменяется, а погашаемая инерция разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками.⁷

Второе предложение – абсолютно гоголевское. Производство тавтологии – одна из отличительных черт гоголевских нарративов. Андрей Белый не случайно говорил о связи гоголевской тавтологии с энтропией и, в конце концов, с сумасшествием⁸. «Тарабарский язык» Платонова – это перевернутая правильность сталинской речи, тарабарской не «по форме», но «по содержанию». Сталинская «диалектическая логика», переворачивающая смыслы, отразилась в платоновском языке, в котором вообще бесполезно искать логику. Этот язык зафиксировал мир *между логиками*. Подобно тому, как сталинские логемы производят опустошенные языковые конструкции, платоновский текст весь – в каждом своем периоде – расширяет минные поля смыслов.

Лингвистический экзистенциализм Платонова сопоставим разве что с обернутой (в его время) и соц-артом (в поздней и пост-советскую эпохи). Эта линия, как представляется, является ключевой модернизационной компонентой в русской прозе нового времени: Гоголь – Белый – Платонов – каждый из них произвели глубинный сдвиг в русском языке. То, что делает Платонов с советским языком – это фактически то, чем спустя полвека занялся московский концептуализм.

Возвращаясь к Сталину, можно сказать, что оба они, Сталин и Платонов, создали две радикальные версии советского языка. Одна – радикально нормативная и нормирующая, другая, напротив, – радикально острающая. Публичный советский язык и язык Платонова подобны евклидовой и неевклидовой геометрии, оперирующей в одном и том же пространстве власти. Языковая геометрия Платонова обладает однако колоссальным

⁷ А. Платонов, *Государственный житель: Проза. Ранние сочинения. Письма*, М. 1988, 251.

⁸ См.: А. Белый, *Мастерство Гоголя*, М.-Л. 1934.

взрывным смыслообразующим потенциалом – она вскрывает правила языковой игры с такой глубиной, рядом с которой соцреалистический роман похож на жалкие евклидовы формулы для начальных классов школы рядом с теорией относительности. Подобно Эйнштейну, Платонов открыл колоссальный взрывной потенциал языка, освободил его энергию.

При этом, я имею в виду не только общую онтологическую значимость языка, о которой писал Бродский, пытаясь выразить суть платоновской вещиности:

Каждая фраза заводит русский язык в смысловый тупик, тупиковую философию в самом языке... Ты оказываешься в загоне, в ослепляющей близости к бессмысленности явления... Возникает ощущение безжалостной, неумолимой абсурдности, исходно присущей языку, и ощущение, что с каждым новым, неважно чьим, высказыванием эта абсурдность усугубляется.⁹

Есть и другой, куда более близкий социальный план. Хотя Платонов писал исключительно социальную прозу, высшая ее социальность вовсе не в том, был ли он против коллективизации или за индустриализацию, убежденным пролеткультовцем или тайным антисталинистом. Социальность платоновской прозы – в самом ее языке. Можно сказать, что язык был основой Советской власти. Сам советский социализм был в значительной мере продуктом репрезентации. Сам вождь был продуктом языка. Не удивительно, что всякая атака на язык должна быть понята как атака на строй, на режим.

5

Занимался ли Платонов сознательным пародированием соцреализма (скажем был ли «Котлован» пародией на производственный роман)? Думаю, связь Платонова с соцреализмом куда глубже: его мир – это мир полной дереализации жизни через язык, и этим он страшно похож на соцреализм. Отсюда и происходит платоновский антипсихологизм. Так, в «Чевенгуре» происходит больше смертей, чем в любом другом произведении о гражданской войне (например, во всех рассказах «Конармии» вместе взятых), а между тем, эти описания настолько деперсональны, что вовсе не воспринимаются всерьез. Тогда как, читая Бабея, Вс. Иванова или Сейфуллину, читатель «ликует и содрогается», у Платонова, он заморожен языком. Язык нейтрализует и дереализует жизнь, но одновременно он оказывается и

⁹ И. Бродский, Послесловие к «Котловану» А. Платонова, *Сочинения*, Т. 7, Спб. 2001, 73.

единственным пространством постановки «последних вопросов» и единственным медиумом для их артикуляции.

Биографически Платонов интересен сравнительной незначительностью того, что было ДО и ПОСЛЕ того самого десятилетия (конец 20-х – конец 30-х), когда создавались его великие тексты. Как вдруг эта языковая бездна для него открылась и почему затем закрылась? Ничто, кажется, ее не предвещало: не из пролеткультовских же виршей, не из чистой стилизации пугающей готики «Епифанских шлюз», не из орнаментализма, не из сказовости ведь родился великий Платонов. Кто тогда только не писал такой прозы! С конца 1930-х вновь, как после болезни, происходит нормализация, вернулась сюжетность и лишь изредка во вполне нормальном языке то тут и там всплывут вдруг драгоценные языковые перлы того десятилетия, когда пропало все, как будто провалилось в языковую черную дыру. Когда вместо сюжета остался один язык, поглотивший всю энергию этой прозы. На исхудалом лице аскета остались одни глаза. Эти глаза – язык. И так – десять лет, а потом, как будто излечение от бесов – более или менее конвенциональная проза.

Потрясает эта грандиозность провала. Язык здесь – только симптом куда более широкого сдвига – всего комплекса того, что Фуко называл «властью-знанием». Резкой деформации, а затем перевосстановлению подверглась *вся* система. В этот момент и зафиксировал ее Платонов. Зошенко ухватил лишь обрывки фраз в прихожей. Платонов – самое «вещество» дискурса, который в советских условиях и был «веществом существования». Именно глубина этого сдвига позволила – через языковую проблематизацию реальности – проартикулировать «последние вопросы».

6

Мир Платонова – это мир, который потерялся *в щелях языка*, откуда его надо *выковыривать*. Это только кажется, что в мире этом есть какие-то метафоры. На самом деле, он абсолютно буквален. Вот – опять наугад – начало «Котлована»:

В день тридцатилетия личной жизни Вошеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вошев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, непод-

вижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение.¹⁰

Понять надлежит самое соединение слов едва ли не в каждом втором словосочетании: «тридцатилетие личной жизни», «рост слабосильности в нем», «задумчивость среди общего темпа труда», «воздух был пуст», «скучно лежала пыль», «в природе было такое положение»...

Что такое, например, «тридцатилетие личной жизни» в первой же строке? Будь это простое присоединение устойчивой конструкции «личная жизнь» к «тридцатилетию» (вообще не нуждающемуся в пояснительной конструкции), это была бы обычная «хохма» из репризы Жванецкого или из рассказа Зоценко, но за этим – самая природа платоновских героев. Многие из которых подобны зомби. Грамматически они не могут выйти из плена страдательного залога: какая-то власть над ними что-то с ними продельывает. В этом мире может действительно существовать «неличная» жизнь, т.е. жизнь, принадлежащая кому-то другому. Так с первой строки начинает выстраиваться мир, основанный на невероятных допущениях. Так начинает отстраиваться – исключительно через язык – некий внутренний сюжет. Если пройти *так* весь роман, можно отстроить здание его второго – главного – смысла. Иначе говоря, то, что Сталину казалось тарбарщиной, то, что многим читателям кажется неким «затруднением» при чтении Платонова, то, что исследователям иногда представляется некими метафорами, на самом деле, следует понимать вполне буквально. Так, буквально, должна быть понята каждая неправильность, каждый вызов конвенции. Как луч из зазеркалья. Только не растеряв эти лучи, но собрав их воедино, мы сможем получить мощную вспышку, которая в состоянии осветить весь потерянный мир Платонова. В этом мире мы прочтем истинное значение верных, «как пудовые гири», сталинских слов.

В сущности, нет ничего важнее для русского национального самосознания сегодня, чем понимание происшедшего в XX веке сдвига. Среди великих русских писателей XX века Платонов стоит особняком. В течение самого страшного десятилетия этого столетия он произвел нечто большее, чем литература.

¹⁰ А. Платонов, *Государственный житель: Проза. Ранние сочинения. Письма*, М. 1988, 108.